

Нет, что ни говорите, а правильно Илюшка сделал, что Катьку побил, когда вернулся с отсидки. Мало того, что нагуляла, да еще и ребенка не уберегла.

Илюшка бил ее монотонно, настойчиво, с той страстью, которая была предназначена совсем для других целей. Сначала он оттаскал Катьку за волосы, потом повалил и попинал ногами, а когда она поднялась, оттрепал по лицу. Но главное было — в глаза ей заглянуть, понять — чего ей не хватало, без чего не могла обойтись...

Когда Илюшку увели в конце тридцать девятого, Катька подумала, что навсегда. За что, почему увели, никто не объяснял. Но Катька-то знала за что: язык у Илюшки был без костей. А как выпьет лишнего, вообще удержу нет, так понесет, только держись.

Поначалу Катька пыталась передачи носить, куда сказали, просовывать их в заветное окошко, но передачи не брали, сказали, что не положено.

— Тебе еще повезло, — сочувствовали девчонки из столовой. — Могла бы вслед за ним отправиться. А так еще поживешь...

И Катька пожила.

Все началось с того, что в столовой, где она работала официанткой, Катька украла

коляску краковской колбасы. Не то, чтобы она была сильно голодная, просто колбаса так блестела и так вкусно пахла, что Катька не удержалась.

Спрятав колбасу под передник, Катька хотела незаметно прошмыгнуть в раздевалку, но была застукана поваром Василь Василичем.

— И что ты, Катерина, на кухне забыла? — спросил он как всегда строго.

Официанткам вообще не разрешалось на кухню заходить, особенно в отсутствие поваров.

— Да я так, только посмотреть, — не нашлась, что ответить Катька.

— И много высмотрела? — не отставал Василь Василич. — Или ты, может быть, думаешь, что я запах краковской на лету не отличу?

Катька поняла, что попалась.

— Ну, Василь Василич... — промямлила она.

— Вот тебе и ну, — ответил повар и демонстративно прошествовал мимо Катьки на кухню.

Катька все-таки донесла колбасу домой, но есть не стала — не было аппетита. Она тихо сидела за столом, пила пустой чай и гадала, что теперь будет. А ровно в половине девятого в дверь осторожно постучали. Катька открыла. На пороге стоял Василь Василич.

— Ну, что, Катерина, чем за колбасу платить будешь? — начал он без обиняков.

Катька и пикнуть не успела, как Василь Василич завалил ее на кровать. Потом было то, что обычно бывает, с той лишь разницей, что Василь Василич сильно и натужно пыхтел. Оно и понятно: за многие годы работы в столовой поднаторел он в дегустации разных блюд, поднакопил лишнего жирку.

Когда Катька после того случая вышла на смену, она не могла поднять глаз, ходила по залу как вареная, едва замечая, что стоит у нее на подносе.

Василь Василич, напротив, чувствовал себя чрезвычайно уверенно и даже иногда сам, минуя подавальщиц, водружал на Катькин поднос самые красивые и аппетитные блюда. Да еще и подбадривал ненароком:

— Неси, Катерина, неси, публика ждать не любит.

Василь Василич почему-то всегда называл посетителей столовой «публикой». И ведь, действительно, как их называть? Клиентами? Как-то двусмысленно и неприлично. Пациентами? Пациенты вроде как у докторов бывают. Столующиеся? Совсем смешно. Публика так публика — пусть будет так.

Катькина публика обслуживанием была довольна, Василь Василич тоже был доволен, особенно после того случая. А Катька?

Катька жила в бывшем барском доме, на казенной квартире, которую ей дали от производства. Хоть и невелика была у нее комната с общей кухней, зато в придачу — теплый туалет. А случись что, возвращаться бы Катьке к матери в деревню, где и без нее четыре рта, да и укромное место за сараем на ветру.

А уж если Василь Василич откроет рот по поводу краденой колбасы, то не миновать Катьке лет пяти в местах совсем отдаленных. Да еще и Илюшку, что в отсидке находится, припомнят.

Вот и думай: как быть — ходить тише воды и ниже травы или нрав свой веселый показывать.

А нрав у Катьки, действительно, был веселый. И спеть, и сплясать — это все про нее. Девчата из столовой раньше часто собирались на посиделки, и кавалеров знакомых приглашали.

Поначалу Катька стеснялась. И как петь, а тем более плясать, когда надето на тебе материно перелицованное платьє, а на ногах — стоптанные баретки. В таких топнешь лишний раз, они и развалятся на бегу.

А как познакомили девчата Катьку с Нелей Ивановной, и как купила она у нее модное крепдешиновое платьє с крылышками да лодочки на каблукках, так и понеслось.

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня, —

смело заводила приятным низким голосом Катька.

Не морозь меня,
Моего коня, —

подхватывали девчата.

А как плясать пойдут под патефон, Катька тоже первая. То левой ножкой топнет, то правой. А новые каблочки звонко этот притоп на полу отпечатывают, чтобы красиво было. Да еще эту звонкость удвоят, а то и утроят...

И еще на стройных ножках у Катьки — атласные чулки, купленные по случаю у той же Нели Ивановны.

Чем Катька не невеста. Чем не красавица?.. На одной из таких посиделок и приметил Катьку Илюшка. Сидел он поначалу на другом конце праздничного стола, а как Катька распелась, а потом еще и сплясала, пересел поближе.

Что скрывать: Илюшка Катьку давно приметил. Приметил, да издалека присматривался. Внешность у нее была какая-то нездешняя. Цыганистая. Волосы, что смоль — иссиня-черные, глаза тоже черные — глянет, как одарит. И фигура у Катьки тоже была нездешняя, не крестьянская, с тонкой талией да узким бедром...

Вот и посуды: столовские девки все, как на подбор — широколицыце да припухлые, как и положено на хороших харчах, а Катька...

Илюшка Катьке тоже приглянулся — русоволосый, высокий да статный. Одет, правда, слишком по-простому, но это ничего, это поправимо — Неля Ивановна всегда найдет, чем помочь.

Сидя за столом в окружении захмелевших товарок и их кавалеров, Катька уже прикидывала, что можно купить для Илюшки у Нели Ивановны: пиджак и рубаху, лучше голубую, а к зиме непременно белые бурки — они как раз входили в моду.

Как оденутся они с Илюшкой во все новое, как пройдутся по главной улице, прикидывала втайне Катька, все будут оглядываться и завидовать.

Повела Катька после того застолья Илюшку в свою комнатку, где, прежде чем приступить к самому главному, они долго сидели за столом и о чем-то толковали. И вот тут-то Илюшка сплоховал. Нет, не во время того, а до... Видно, цену себе хотел набить. Сказал, что неподалеку, в ближайшей деревне, у него с родителями есть свой дом и хозяйство, а еще два коня.

Одного коня Катька, действительно, видела. Это была старая заезженная кляча, на которой Илюшка, подрабатывающий извозом, доставлял в их столовую крупу и макароны.

«Ну, ладно, Елка (клячу почему-то звали Елка) свой век уже отжила, — подумала Катька. — Ну, уж второй-то конь должен быть Илюшке под стать — такой же молодой да резвый».

Потом уже, когда стали жить вместе, поехала Катька с молодым мужем в его родовое гнездо, чтобы, как положено, с родителями познакомиться.

ся. И оказалось, что у Илюшкиных родителей, кроме него самого, еще есть брат и три сестры. А дом, где все они в настоящее время проживали, был и не их вовсе, а дальних родственников, которые из милости пустили неудельное семейство поквартировать. А сами они, родители то есть, были беженцами с Украины, и из всей живности имелся у них десяток кур да две козы.

А конь... Конь, правда, тоже был, но от бескормицы он так отощал, что конем его можно было назвать только очень условно.

Посмотрела на все это Катька, но обижаться не стала — обманул ее Илюшка, но обманул — назад ничего не вернешь. Да надо ли возвращать? Она при работе в столовой — там с голоду не умрешь, даже если очень захочешь, Илюшка — на извозе, тоже килограмм-другой макарон или крупы припрячет, никто и не заметит. А то, что его родители качественными людьми оказались, это даже хорошо: не нужно будет со свекрами жить да во всем им угождать.

Поселились молодые (оно и понятно!) в Катькиной комнатке. Начальство столовское поначалу недовольство высказывало: мол, приютила чужака.

— Какой же он чужак? — не давалась в обиду Катька. — А если он в ответ на ваши обидные слова перестанет столовским макаронами возить и людей голодными оставит, тогда как?

В конце концов, начальство сдалось и даже прописало Илюшку в Катькиной комнате, правда, пока временно. Оно и понятно: временно — значит, только на время работы.

Катька не возражала — она и сама была здесь жильцом временным, поэтому за работу так и держалась.

Короче, расписались Катька с Илюшкой, прописались, казалось бы, вот она, жизнь настоящая, только и начинается...

Но была у Илюшки одна беда — любил он с устатку, а тем более с морозу, заглянуть в местный чепок, где продавали водку на разлив. Привяжет свою Елку неподалеку, а сам — юрк туда. И было совсем не тепло в том чепке, и даже пар изо рта валил, если зимой или поздней осенью, да и не прибрано там было — какие-то объедки по полу валялись, а вот, поди ж ты — так и норовил мужик туда попасть, чтобы внутри согреть.

А чем там можно было внутри согреть? Ну, выпьешь ты рюмку-другую, а на закуску предложат тебе бутерброд на сухом хлебе да с сыром залежалым, который от старости уже крылышки поднял, улететь захотел...

Катька и ругала Илюшку, и уговаривала, чтобы он этот чепок лишний раз не посещал. Спрашивала, почему дома у него душа не греется — она и котлеток из столовой принесет, что публика не доела, и гарниры разные к ним, которые тоже в дело не пошли. А еще салаты бывают, иногда целые порции, никем не тронутые: ешь — не хочю...

А Илюшка слушать-то слушал, а делал по-своему — никак не удавалось ему на своей тощей кобыле этот чепок вовремя обогнуть. Вот и дочепокался — то ли анекдот кому какой рассказал, то ли пожаловался на что, выясняй теперь.

Пришли за Илюшкой спозаранку, сказали, вещи на сменку собрать, а что, зачем и куда увозят — молчок. Оно и так понятно — не в санаторий везут на месяц-другой, а дальше и надольше.

Когда за Илюшкой пришли, Катька даже испугаться не успела. Правда, белье с носками кое-как собрала, в узелок завернула. А дальше — молчок. Стоит как вкопанная, даже не попрощалась по-человечески.

А когда Илюшку из дома увели, стала она думать-рассуждать, как такое могло случиться.

Сначала грешила на соседей. Может быть, кто из них куда бумагу написал? Но кто? Варька? Ей-то зачем? Или Маруська? Той уж точно не к чему, живет своей семьей тихо и спокойно.

Правда, жениха у Варьки нет, а ей уже под тридцать... Но если бы Варька на Илюшку Катькиного позарилась, то стоило бы ей на самую Катьку бумагу писать, а не на него. От того, что Илюшку спозаранку увели, ей проку никакого.

После начала Катька своих столовских перебирать — может, они? Сразу подумала на повара, Василь Василича — он давно ей втихаря подмигивал. А Катька делала вид, что намеков не замечает.

«Нет, это не Василь Василич, — заключила Катька. — Скорее всего, кто-то из чепка».

Катька давно подметила: Илюшка, как выпьет, сильно распяляется. И все его подмывает правду кому-нибудь рассказать. А правда была в том, чтобы поведать случайным друзьям, как сильно их, и мать, и отца, и самого Илюшку, и даже младшего брата и сестер, в этой жизни обижали.

Обижали так, что вынуждены были они, погрузив нехитрое свое барахло, бежать из родной Украины куда глаза глядят. А еще помнил Илюшка, какой там, на Украине, в 30-х годах был страшный голод и как соседи съели своего младенца. И как долго он не спал по ночам в ожидании того, что родители могут съесть и его самого.

Когда Илюшка затевал подобные разговоры, то очередной собеседник ему, как правило, объяснял, что во всем виноваты баре и проклятые буржуи, но Илюшка по этому поводу сильно сомневался: он хорошо знал по рассказам отца, что последнего барина, пана Куцько, увели из их украинской деревни еще в двадцать первом. И по всему получалось, что в недавнем голодоморе пан Куцько был вроде как не виноват.

А еще Илюшка любил рассказывать анекдоты. Опасное это было занятие во все времена. Но почему-то считалось: кто расскажет анекдот, тот вроде как смелый, по крайней мере, смелей других.

«Нет, мог и Василь Василич из столовой на Илюшку написать, — продолжала рассуждать Катька. — И ему, Василь Василичу, прибыток: вроде как врага в стройных рядах советских людей приметил, и она, Катька, теперь одна осталась, можно лишний раз на огонек заглянуть».

«Нет, что ни говори, а странный у нас народ, — думала Катька, скучая темной ночью в холодной одинокой постели. — У нас самая большая радость, когда у соседа околеет корова. И то, что другому народу на пользу, нам вроде как во вред».

Неожиданно захотелось пить.

Катька встала с кровати, налила из чайника воды и выпила ее в один присест.

«Нет, действительно, — продолжила свои рассуждения Катька, снова угревшись под одеялом. — Сами едва читать-писать научились, буквы еще не все распознают, а уже бумагу на соседа строчат. А ведь, казалось бы, грамота, ученье — они должны быть во благо. А у нас только во вред».

Катька накинула байковый халат и прошествовала в туалет — нет, не надо было на ночь воду пить...

«Наверное, оттого у нас все нескладно получается, что нас на земле много, — подытожила свои мысли засыпающая Катька. — И земли у нас много, и людей. Вот ничего и не бережем».

...После того случая с колбасой Василь Василич заходил еще пару раз. И всякий раз, как был в шутку, спрашивал, вкусная ли была краковская

колбаса. Катька хотела было ответить, что с испугу колбасу не ела, отдала соседям, но потом понимала, к чему он клонит, и сдавалась без боя.

На третий раз Василь Василич заявился не пустой — достал из-за паху нагретую бутылочку наливки и банку консервов.

Катька принесла из кухни еще теплую картошку, нарезала соленых огурцов, которые мать прислала из деревни.

— Так-то лучше, когда домашняя еда. А то столовское меню у меня уже вот где сидит, — сказал Василь Василич. Открывая наливку, он характерным жестом, будто невзначай, чиркнул себя ладонью по горлу, как бы подтверждая, что готов немного принять.

«А что, Василь Василич — очень даже ничего, чистенький, аккуратный, — пыталась успокоить себя Катька, когда гость ушел. — Не был бы он чистенький, в столовую бы точно не взяли, тем более в повара».

Катька вылила в рюмку остаток наливки и выпила ее залпом.

«Правда, Варька, соседка, его в общем коридоре заметила, — вспомнила Катька. — Ну, что Варька? Может, он по делу заходил...»

Второй Катькин грех, помимо Василь Василича, случился поздней промозглой осенью, когда она, замерзшая, с обновками в руках, возвращалась из города домой. На остановке, где она ожидала автобус, вдруг резко затормозил грузовик, а из открытого окна показалось знакомое лицо Володьки, шофера из потребкооперации.

— Девушка, — крикнул он вконец одеревеневшей Катьке. — Поедем или будем дальше стоять?

Катька села в кабину и сразу разомлела. И не мудрено — там, на улице, дождь, а в кабине тепло и даже уютно.

Что ни говорите, а в тот раз Катьке по-своему повезло — она уже в пути, а придет ли автобус, еще неизвестно.

Когда Володька положил Катьке на колено руку, она ее не убрала, хотя и немного отодвинулась в сторону. А когда Володька предложил заехать в придорожный лесок и выпить по маленькой, согласилась.

Потом захмелевший Володька, смеясь, толковал Катьке, что теперь она ему ничего не должна и он, стало быть, тоже ей ничего не должен.

Если всерьез, то это означало только одно: если будут какие последствия от их слишком тесных взаимоотношений, то должна будет она, Катька, справляться с ними сама.

Но, к счастью, никаких последствий после общения с Володькой не возникло, чему Катька была несказанно рада. Не то, что в следующий раз, когда в их столовую неожиданно зачастил молоденький летчик. Да не простой летчик, а офицер. А звали его Виктор. Победитель значит. Он так Катьке и объявил при знакомстве: я, мол, победитель! Беру все, что люблю!

Уже два года, как шла война, и летчики у гражданского населения были контингентом особо уважаемым. Да еще если учесть, что мужчины в те времена на улицах встречались все реже и реже, и только те, что остались дома по броне или для фронта совсем непригодные.

Был Виктор видный да статный, а самое главное — холостой. Катька втайне даже подумывала о том, что, может быть, ей с Илюшкой, горе-сидельцем, втайне развестись, да за летчика замуж пойти. Вот бы все столовские обзавидовались. И было чему: раньше была она просто Катька, и вдруг та самая Катька да офицера жена...

Видно, сильно приглянулся Катьке летчик Виктор, так приглянулся, что ответило на его призывы все ее дремавшее нутро. Да не просто ответило, а воскликнуло звонким возгласом, да таким, что Катька уже и не помнила себя.

«Все, что раньше было, это ерунда, — сделала вывод осоловевшая от любовных ласк Катька. — И Василь Василич, и Володька, и даже Илюшка. Вспомнишь, как что было, и кажется, что только воду в ступе толкли: вроде все так, а на самом деле — не так».

То, что Виктор ее окончательно победил, Катька поняла после февральских праздников, после того, как они бурно отметили День Красной Армии. Сначала, как и все глупые бабы, Катька сомневалась в этой «победе» — надеялась, может, пронесет. А как стала она каждое утро проводить в туалете, склонившись над унитазом, чем вызвала живейший интерес соседей, все сомнения отпали сами собой.

Катька потом долго вспоминала, как бежала по завьюженной дороге в лесную глухомань, туда, где стояла воинская часть, и как ее туда не пустил суровый часовой. И еще вспоминала, как сжалился над ней какой-то офицерик, который выскочил на мороз в одном кителе, и сообщил, что Виктор на учениях, а потом, может быть, отправят его сразу на фронт.

Катька почему-то засомневалась в столь скором отъезде Виктора, и ей даже показалось, что из окон казармы, стоящей напротив КПП, за ней наблюдают любопытные глаза. Но что в этом случае скажешь и кому пожалуешься, когда у самой в паспорте обозначен муж, а ты пришла на свиданье к чужому молодцу?..

— Кать, может, тебе к тетке Дарье, повитухе, сходить? — посоветовала Катьке соседка Машка. — Я ходила, когда третьего понесла. А куда нам третий, двоих бы как-нибудь прокормить.

— И что тетка Дарья? — поинтересовалась расстроенная, больная Катька.

— А что тетка Дарья? Берет маленькую пророщенную луковицу, высаживает тебе внутрь — сама понимаешь, куда. А когда луковица прорастет, вытаскивает ее вместе со всем.

— И ты тоже луковицу высаживала?

— Я — нет. Меня тетка Дарья иглой ковыряла. Взяла иглу, которой вяжут носки, подержала ее над огнем, ну и...

— Иглу — тоже внутрь? — не поверила Катька.

— Нет, вокруг поводила, и все прошло, — отшутилась Машка.

— А потом?

— Что потом? Потом три дня покряхтела, и вышло все, что туда положили...

Всю следующую ночь Катьке снилась большая проросшая луковица, которую ее заставляли есть почему-то без хлеба.

Утром Катька вскочила раньше обычного и направилась в туалет, решившись вытошнить ненавистную луковицу, но потом поняла, что это был всего лишь сон. А вечером, уже в сумерках, она все-таки потопталась возле повитухино дома, но войти не решилась — то ли испугалась чего, то ли передумала, не поняла сама.

«А если вдруг Виктор объявится, что я ему скажу? — успокаивала сама себя Катька. — Ведь он наверняка поинтересуется, куда я дела дитя».

Глубокой осенью, в сорок четвертом, у Катьки родилась дочка, которую тоже называли Катькой.

Катька-старшая почти до последнего дня ходила на работу, а чтобы она не попадалась на глаза начальству или не шокировала публику большим животом, Василь Василич прятал ее на кухне или в чулане с продуктами. Тут и работа нехитрая находилась — картошку почистить или мор-

кошки обшкурить. Единственное, от чего отказывалась Катька — чистить лук, говорила, что ее от него тошнит.

Надо отдать ему должное, Василь Василич Катьку не обижал, видно, чувствовал какое-никакое родство — ведь и он когда-то то место осваивал, из которого Катькина дочка потом произросла.

Покормить младенца Катьку-старшую с работы тоже отпускали — благо, было недалеко. А как девочка немного подросла, Василь Василич начал выделять для нее неучтенное печенье. Нажует Катька печенья, завернет его в тряпицу, сунет ребенку в рот — вот тебе и еда, и лакомство на целый день.

К Катьке-младшей Катька-старшая относилась хорошо, но на этом ее душевное расположение к ребенку почему-то заканчивалось. Хотя упрекнуть ее по большому счету было не за что: малышка была сыта, одета — что еще ребенку можно было желать?

Чтобы принарядить подрастающую дочку немного пофасонистей, пригласила как-то Катька к себе в гости Нелю Ивановну.

Неля Ивановна была на Катькиной квартире впервой — прежние сделки совершались обычно дома у подруг. Она придирчиво оглядела домашнюю обстановку и остановила свое внимание на маленьком резном столике, доставшемся Катьке в наследство от прежних хозяев.

— Какая милая вещица! — неожиданно громко воскликнула Неля Ивановна.

— Столик, что ли? — уточнила Катька. — По-моему, так совсем бесполезная в хозяйстве вещь. Только и делаю, что с места на место его переставляю.

Столик и вправду был необычный и в Катькином хозяйстве малопривлекательный — с витыми ножками, круглой столешницей, к которой, вдобавок ко всему, зачем-то были приделаны четыре острых угла, будто мастер неожиданно для себя вдруг пересмотрел первоначальный замысел и переиначил его на другой.

— И поставить на него ничего нельзя, и с обедом не расположишься — очень он низкий да неустойчивый, только и ждешь: вот-вот ножки отвалятся, — продолжила свою мысль Катька.

— Такие столики были в моде при дворе французского короля Людовика, — объяснила Неля Ивановна.

— А вы откуда знаете? — поинтересовалась Катька.

Неля Ивановна хотела было рассказать, что не во все времена она занималась дефицитным тряпичным промыслом, но про это смолчала. А в ответ только и добавила:

— Я, деточка, прожила долгую жизнь.

Помолчали. Поняли, что больше говорить не о чем (все, что было нужно себе и ребенку, Катька уже примерила и купила).

— Так что этот славный столик вам, Катя, достался как подарок от короля Людовика, чтобы вы научились ценить красоту, — сказала на прощанье Неля Ивановна. — На него можно поставить вазу с цветами или положить книги, чтобы почитать перед сном.

Но ни вазы с цветами, ни книг в хозяйстве у Катьки не нашлось. А бесполезный столик она одно время даже хотела выбросить на помойку, но не решилась — и так-то в комнате мебели практически никакой.

Уже позже Катька признавалась себе: она будто чувствовала, что именно из-за этого Людовика и случится в доме что-нибудь неприятное, тем более что шаткая неуверенная походка начинающей самостоятельно ходить Катьки-младшей к тому сильно располагала.

Сначала Катька задвинула Людовииков столик в самый дальний угол комнаты и заставила подходы к нему всеми стульями, какие только нашлись в хозяйстве, потом передумала и решила взгромоздить его плашмя на платяной шкаф, но он туда не поместился. А потом оставила всякую затею и решила: будь, что будет, и поставила столик на его прежнее место у окна...

— Безалаберная вы мамаша, — высказала свое мнение Катьке-старшей пожилая фельдшерница, которую та вызвала, вернувшись с работы и обнаружив, что ребенок уже перестал дышать.

Фельдшерница объяснила, что помочь уже ничем не сможет и что девочка, видимо, обо что-то споткнулась и ударилась виском об острый угол тяжелого стола. Она рассказывала об этом так подробно, как будто Катька сама не понимала, что произошло.

Катька стенала, заламывала руки, а потом, когда ее хитроватые черные глаза высохли от слез, она тяжело вздохнула и подумала о том, что может быть, так даже лучше.

«Жалко, конечно, очень жалко, — рассуждала Катька по прошествии некоторого времени. — Но, с другой стороны, что без толку горевать: маловероятно, что Виктор на горизонте появится, а кому другому чужой ребенок вряд ли в радость пойдет...»

Виктор, действительно, не появился, мало того — и знать о себе никак не давал, зато перед самым окончанием войны вдруг вернулся с отсидки Илюшка.

Ох, уж как он эту Катьку метелил, как жестоко бил, что даже соседи за стеной — и те застонали. Ведь она, Катька, теперь вроде как во всем была виновата. Виновата была, что гуляла — это раз, виновата, что родила неизвестно от кого — это два, а самый большой ее, Катькин, грех состоял в том, что малого ребятенка, хоть и чужого Илюшке по крови, не уберегла.

В последнем грехе Илюшка и сам до конца разобраться не мог. С одной стороны, это и хорошо, что лишнего рта, неизвестно от кого прижитого, в доме не будет, а с другой... Вроде как Катька специально, к его возвращению, все подгадала. Как будто это он, Илюшка, из своей отсидки, из лагеря Катьке письма писал или какие-то тайные знаки подавал, чтобы она этот злополучный столик на самое видное место поставила.

И казалось Илюшке, что люди, знакомые и малознакомые, которых он встречал на улице, как-то не по-доброму на него глядят, а некоторые и вовсе отворачиваются, чтобы руки не подать. А соседи, когда он на общую кухню заходил, даже разговор прерывают, чтобы во всеуслышанье их с Катькой непутевую жизнь не обсуждать.

Пожил так Илюшка, пожил, все пытаюсь осознать свое противоречивое состояние, а потом собрал нехитрые вещички и подался в дальние края, сказывали — на родину поехал, на Украину. Даже смоляные кудри Катьки-старшей и ее черные глаза не сделали свое важное женское дело.

Катька, опечаленная его отъездом, по вечерам сидела дома одна, ревели белугой, но в глубине души все-таки надеялась, что Илюшка передумает, вернется и, конечно же, ее простит.

Почему-то особенно тяжело приходилось в сумерках, когда из чувства экономии еще рано было включать свет, но уже было понятно, что кроме света, по крайней мере, сегодня, ее дом никто не посетит.

В один из таких вечеров, от тоски или по какой другой причине, отыс-

кала Катька в кладовой старый Илюшкин топор и изрубила злополучный столик, как будто это он, случайный подарок от Людовика, а не она сама, Катька, был виноват в ее бестолковой, противоречивой и до конца непонятной даже ей самой жизни.

КОТ И ПЕС

В прошлом году, в канун Покрова, Клавдия Васильевна схоронила единственного сына. Сын страшно пил и погиб трагически — его с пробитой головой нашли случайные прохожие на пристанционной площади. Когда-то у сына были жена и дочь, но личная жизнь не заладилась, и давно уже он разлучился с семьей, разошлись они как в море корабли.

Сына провожали плохо, никто по нему, кроме матери, не убивался, не плакал. Жена и дочь и вовсе стояли в сторонке, как чужие или соседи. При прощании покойного с домом только протяжное завывание старухи-матери и такой же протяжный скулеж дворняги Малыша возвещали, что в последний путь отправился чей-то сын, муж и отец.

На кладбище Малыша не взяли: вроде как собакам там быть не положено. Заранее, чтобы не болтался под ногами, его приковали цепью к собачьей конуре, а когда из дома выносили гроб с телом покойного, бедный пес начал рваться и метаться, изо всех сил надеясь высвободиться из-под железной опеки цепи.

Уже после похорон старушка-читалка, оставшаяся в доме помогать в приготовлении заупокойной трапезы, рассказывала: «Собачка-то так с цепи рвалась, так рвалась!.. Я думала, сердце надсадит или на забор вскитнется, и дело с концом».

После пережитого горя Клавдии Васильевне было не до собаки, тем более что та поначалу, после потери хозяина, вела себя отчужденно и недружелюбно, будто в чем-то ее упрекала. А дней через десять после похорон к Клавдии Васильевне забрел странный субъект, который объявил, что сына ее убили за бутылку пива, а сам он, субъект то есть, стал невольным свидетелем этой трагедии.

Незванный гость исчез так же внезапно, как и появился, и Клавдия Васильевна так и не успела узнать, почему же он не заступился за ее сына, не успела спросить и о том, как это можно так просто убить человека... Да мало ли о чем она не успела спросить...

После внезапного визита странного субъекта Клавдия Васильевна долго не могла прийти в себя. И не найдя ничего более успокаивающего, она присела на свежий чурбак у собачьей конуры и повела беседу как бы сама с собой: «Ты знаешь, Малыш, видно, чего-то мы с тобой недоглядели, коль все так произошло. Видно, чего-то мы ему не досказали и недо-разобъяснили...»

Клавдия Васильевна точно не знала, что нужно было досказывать и доразобъяснять взрослому сорокалетнему мужику, если он начал путать божий день с ночью, но она знала, чувствовала, что не донесла до сына что-то такое, что могло бы стать основой его, а значит, и ее существования.

«Может быть, я редко говорила, что люблю его, что он мой единственный и самый лучший?» — спросила Клавдия Васильевна самое себя.

Невольно присутствующий при странном разговоре пес сначала внимательно выслушал пространное разъяснение, потом прижался к хозяйкиным ногам и, посмотрев на нее всепрощающими глазами, по-видимому, согласился с тем, что она права.

С того дня пес от Клавдии Васильевны не отходил. Она, признаться, не ожидала от собаки такого внимания, но Малыш был единственным, кто ждал ее после долгих хождений по милицейским кабинетам, где она пыталась оспорить странное заключение о гибели сына, гласившее: «Смерть наступила в результате несчастного случая».

— Пришла я к этому милицейскому начальнику, — рассказывала Клавдия Васильевна собаке, — и говорю: «Какой же несчастный случай, милочек, коль сына моего забили до смерти? И свидетель ко мне сам приходил, подтвердил сказанное». А начальник мне и отвечает: «Ты из ума выжила, бабка. А если хочешь чего оспорить, веди своего свидетеля, коль он тебе не причудился».

После дадушевных «собачьих» бесед и обильных горьких слез Клавдия Васильевна неизменно чувствовала себя лучше, будто горе ее постепенно растворялось и смывалось слезами, будто кто неведомый подставлял свою душу, чтобы горе-горькое не затаилось в душе одной.

«Вот, скажут, совсем бабка чокнулась — в собачьей душе утешение и сочувствие ищет», — ворчала иногда сама на себя, будто чего застеснявшись, Клавдия Васильевна. И тут же добавляла: «А кто знает, какая душа у той собаки, сочувствующая или несочувствующая — и, может быть, она у нее больше болит, чем у нас самих».

А душа Малыша и вправду болела. Она помнила, как была еще душой бездомного щенка и беспрепятственно жила на привокзальной площади, где позже произошло несчастье с человеком, который того беспризорного щенка неожиданно приютил. Она помнила, как этот человек пригласил Малыша в утреннюю электричку, чтобы отвезти в деревню к своей матери. И Малыш принял приглашение, втайне, конечно же, надеясь, что там, куда его привезут, для него обязательно найдутся теплый угол и сытный кусок.

Конечно же, Малыш знал о надвигающейся трагедии (собаки всегда о таком знают заранее), но он так боялся прежде времени напугать хозяйку, что взял и смолчал. Если трактовать его поступок по-человечески, то пес действовал по принципу: «Пусть узнает, но не от меня». А может, он надеялся, что его молчанье что-то изменит...

Той же осенью, когда погиб сын, к дому Клавдии Васильевны приблудился котенок — грязный, тощий, в чем только душа была жива. Казалось, что все позвонки на его спине можно было пересчитать по порядку. Котенок стоял у забора и жалостливо мяукал. И подойти поближе не смел — боялся, что прогонят, и уйти не стремился, все же надеясь, что его здесь могут обогреть.

Клавдия Васильевна решила котенка подкормить: принесла глиняную плошку, нацедила в нее молока, ткнула его мордочкой в живительную влагу. Пока котенок лакал молоко, Клавдия Васильевна готовилась к «скандалу». Она прекрасно изучила характер Малыша и давно поняла, что дворовый пес согласен был терпеть любые невзгоды, лишения и обиды — единственное, чего он в действительности не мог перенести, так это когда его пути пересекаются с различными бесхозными кошками и котами.

Но «скандала» почему-то не последовало, все было тихо и на редкость спокойно. Сначала Клавдия Васильевна решила, что Малыш просто-напросто не заметил нового жильца, но когда увидела, что тот наблюдает за маленьким гостем с большим интересом, удивилась еще больше.

Вопрос «оставлять или не оставлять» котенка для Клавдии Васильевны не стоял, вернее, ею даже не ставился. Наевшись, этот маленький

мочек жизни благополучно заснул, угрешившись на солнышке у собачьей конуры, потом проснулся, опять поел и... остался жить.

А что же пес? Да ничего. Он котенка не только не обижал, но даже позволял ему есть из своей чашки, ловил с ним вместе мышей и даже отгонял мух, когда те не давали котенку спать.

Зиму они прожили в дружбе и взаимопонимании. Котенок поселился с Клавдией Васильевной в избе, а в сильную стужу она приводила сюда и Малыша. К весне Васька (а бывшего кошачьего сироту называли именно так) вырос, остепенился и обрел, надо сказать, весьма независимый характер. Единственное существо, к которому он питал неизменное уважение, был пес Малыш.

Васька слыл лютым добытчиком. Он ежедневно приносил домой мышей, которых обычно складывал на пороге, и явно недоумевал, почему хозяйка ведет себя так равнодушно и не выражает явного ликования по поводу его высокоразвитого охотничьего инстинкта. А еще приبلудакот очень любил поговорить, при этом его «мяу» больше напоминало «хм», а произнесенное с разными интонациями, могло означать, например, «как дела?» или «что это вы здесь делаете?»

Нельзя сказать, что Клавдия Васильевна подолгу забавлялась со своими животными. Несмотря на возраст, она старалась как можно глубже уйти в хозяйство, чтобы забыть и ни о чем плохом не вспоминать. И все же ее радовало, что рядом есть две живые души, которые к ней прислушиваются, приглядываются и стараются ее, как только умеют, понять и поддержать.

...Малыш взялся подвигать в середине следующего лета. Выл он протяжно, но как бы нехотя, будто выполняя тяжелую безрадостную работу. «Ну, вот и дождалась, — подумала про себя Клавдия Васильевна. — Уже и собака воем по мне».

Клавдии Васильевне минуло семьдесят пять, и умирать она особенно не страшилась. «Все там будем, — рассуждала она. — Вот только живность жаль, не на кого оставить. Да и кому сегодня нужен безродный кот и дворяга-пес».

Но первым покинул всех Васька. Поговаривали, что соседка травила мышей, и кот что-то не то съел. А ровно через неделю издох и Малыш. Он где-то пропадал два дня подряд и вернулся домой весь израненный. Ходили слухи, что его загнали чужие собаки.

Клавдия Васильевна похоронила кота и пса в саду, положив их в землю рядком, и того, и другого завернув предварительно в новый холщовый мешок.

«Отчего мы так неуместно боязливы и стеснительны? — думала, горюя, Клавдия Васильевна. — Отчего я не хвалила кота за то, что он хорошо ловил мышей? И не жалела собаку за то, что она хорошо сторожила дом и была мне большим другом? Почему я так боялась сказать моему сыну, как я его люблю и какой он для меня всегда маленький и несмышленный мальчик?..»

Иногда кот и пес снились Клавдии Васильевне вдвоем, такие домашние, пушистые, уютные и теплые. И Клавдия Васильевна вдруг стала думать о том, что там, в другой жизни, ей будет спокойнее и милее: то Малыш хвостом потрусит, то Васька спросит про дела. Единственное, чего она опасалась, — пожара от оставленной без присмотра печи: очень уж не хотелось умереть беспокойно, не по-праведному, не по-христиански.